

Карел Чапек

АРИСТОКРАТИЯ

Карел Чапек

АРИСТОКРАТИЯ

Содержание:

На помощь!
Зал ожидания
Надпись
История без слов
От поцелуя до поцелуя
Рубашки
Пшеница
Аристократия

На помощь!

Перевод Валентины Мартемьяновой

Он обнаружил, что стоит на просторном откосе, поросшем прекрасными деревьями. «Ведь это Франция, – догадался он вдруг, – видно, я сел не на тот поезд». И в самом деле это странный поезд – сплошь незнакомые лица, все смеются над ним, словно он плохо одет; а поезд мчится со страшной скоростью, так что дребезжат стекла. Брож очнулся ото сна; кто-то стучал в окно.

– Что нужно? – крикнул Брож заплетающимся языком.

– Умоляю, – произнес с улицы дрожащий женский голос. – Помогите нам, пожалуйста, поскорее!

– Пошли вы к черту! – сердито бросил Брож и зарылся с головой в подушки. Лишь бы ухватить прерванную нить! Лишь бы досмотреть сон именно с того момента, когда он прервался! «Поезд. Что-то мне снилось о поезде, – старался припомнить Брож; и вдруг осознал с мучительной отчетливостью: – Я должен был спросить, что с ними случилось!»

Он вскочил с постели и бросился отворить окно. Холодом, чернотой повеяло от пустынной ночи.

– Кто тут? – несколько раз крикнул он, но ни звука не услышал в ответ. Его пробрала дрожь, и он пошел прилечь; юркнув под одеяло, отыскал уже нагретое место и зарылся в тепло страстно и жадно; веки у него снова смежились, а члены расслабились в блаженстве. Ох, только бы уснуть!

Широко раскрытыми глазами Брож глядел во тьму. Кто же там все-таки был? Тут, в деревне, никому нет до меня дела. Кто бы стал искать у меня помощи? Голос был женский. И в нем слышалось безмерное страдание. Видимо, женщине грозила смерть. Впрочем, я ведь не врач. Но, наверное, речь шла о жизни и смерти.

Измучившись, Брож повернулся к окну. Оно вырисовывалось холодным голубоватым прямоугольником в черной, обставшей его тьме. Нигде ни огонька. Тихо; только сухо, отрывисто тикают в изголовье часы. Что же все-таки там произошло? Какая стряслась беда? Наверное, где-то по соседству кто-то умирает или ведет отчаянную борьбу с болезнью? Я, конечно, не врач.

Но в постели жарко, нестерпимо жарко. Брож сел на перину и по привычке взял очки. «И вообще, – раздумывал он, – какой от меня толк? Как им помочь? Способен ли я совершить хоть что-нибудь полезное? Господи, я не умею ни посоветовать, ни утешить; даже словами, даже простой участливостью я не смог бы облегчить чье-либо бремя. Ведь сам я ничего не прошу, только покоя; только избавления от людей. Но что все-таки произошло?»

Тут ему пришло в голову засветить лампу. «Может, увидят свет, – сказал он сам себе, – и постучат снова. Буду светить как маяк. А постучат – спрошу, что случилось. По крайней мере, узнаю, что я действительно ничем не мог помочь».

Утешив себя, Брож подоткнул подушки под спину и напряженно ждал: вот-вот скрипнут ворота и тот же женский голос попросит помощи. Но мерное тиканье часов томило его. Тщетно пытался он остановить время. Было три часа ночи. Исподволь в груди разрасталась непомерная тяжесть беспокойства и волнения. Никто не возвращался.

Брож суетливо и поспешно принялся одеваться. «Конечно, – решил он, – если в доме что-то случилось, свет не погасят, и я постучу в окно. Все равно теперь не уснуть. Пользы от меня никакой, но все же... Они, наверное, совсем уж беспомощны...» Брож спешил и второпях тихо чертыхался, проклиная тонкие шнурки ботинок; в конце концов ему удалось затянуть какой-то немыслимый узел, и он выскочил на улицу.

На улице было темно – хоть глаз выколи. Брож пустился по улочке в поисках освещенного окна; до сих пор он никогда не видел деревни, столь глубоко забывшейся сном, настолько чуждой любому проявлению жизни, настолько чужой... Нигде не проливался жалобный свет ночной лампы, ни единый луч не проникал из-за ставен. В испуге Брож остановился возле часовни; на ее окнах дрожал блуждающий тусклый отблеск пламени. «Лампада», – понял Брож и прошел мимо, но больше нигде не было ни огонька; повсюду – тьма, лишь слабо отсвечивает белизна стен.

Брож медленно брел обратно, вслушиваясь в тишину немых домов. Не раздастся ли изнутри стенание, не возропщет ли тихая беспомощность? Не всхлипнет ли рыданием женский голос? Цепенея от ужаса, Брож исследовал замкнутые просторы немоты: ничего, ни звука, ни учащенного дыхания – ничего...

Разве не может долететь из просторов ночи, из дальней дали, с другого конца света рвущий душу крик о помощи?

Как непривычен спящий мир! Безмолвный! Не кричащий от боли! Не молящий о спасении! Если бы сейчас пронесся тишайший стон, разве Брож не услышал бы его, разве не оперся бы о него, как о столп, не ухватился бы, как за луч, вспыхнувший во тьме...

«Хочешь помогать другим, – прозвучало в нем насмешливо и резко, – а себе помочь не можешь! Но разве, – подумал Брож в болезненном изумлении, – это не так? Ведь это, скорее всего, потому, *именно потому*, что сам себе ты помочь не можешь... – Тот, кто может себе помочь, – тот будет помогать себе; но ты, ты, неспособный помочь сам себе, – пожалуй, это именно так...»

Брож остановился, словно ударенный. Значит, он не способен помочь сам себе! Неужели это правда?.. Да и нужна ли мне помощь... и от себя самого, и от кого-либо другого? Неужто мне и впрямь очень худо? О боже, нет же, нет! Ведь я живу по-своему и не хочу ничего больше. Лишь бы прожить свои дни ради самого себя. У меня нет неисполненных желаний. Наверное, у меня желаний нет вообще. Ведь и себе самому я помочь не в силах. Мне не в чем себе помогать. Мне это никогда не приходило в голову. Пусть все остается так, как есть: день за днем – до бесконечности.

День за днем? Брож опустил на тумбу и недвижно уставился во тьму, словно тайком досматривал прерванный сон. Или будто видел, как уходят в прошлое день за днем, месяц за месяцем и год за годом – до бесконечности.

Ничто уже не изменится. Да и что менять? Стремительно уносятся прочь события и годы; но день следует за днем, словно вообще ничего не происходило. Прошел день. Ну и что в том? Ведь такой же в точности день настанет завтра. Только и он пройдет столь же бесследно! Из дня в день я могу повторять себе: «Я ничего не потерял, кроме дня. Только день, ничего больше». Откуда же в таком случае этот страх? Брож до боли сдвигал себе виски. Чтобы очнуться. «Я не выспался. Я остановился, а дни выросли вокруг меня, словно стены; день за днем однообразно и тяжело накладывались один на другой – словно кирпичи. Я уже скоро проснусь: но то, что я обнаружу вокруг, – будет ли это новый и небывалый день? Или день, возведенный из тысяч минувших – как стена? И я снова спрошу себя: неужели это еще один среди тысяч других, нагроможденных, как

стены? Зачем он явился? Вчера было лишь на один-единственный день меньше! Стоило ли просыпаться ради этого единственного дня?»

Сонливость разом слетела с него. «Да ведь это тюрьма! – осознал он в ужасе. – Столько лет я жил как в тюрьме! – Глаза его расширились; казалось, как-то грустно осветились минувшие годы: они были странно чужие и еще более странно знакомые; все и ничто, дни без счета... – Да, тюрьма, – опомнился Брож, – неужто я так никогда и не проснусь в небывалом дне? Разве я не жду его до сих пор (ах, тюрьма!) – и не ждал все время, – понял он вдруг (... минувшие годы озарились светом), – разве я остановился не для того, чтобы не пропустить небывалый день?»

Минувшие годы озарились светом. «Господи, – шептал Брож, глядя в просторы неба, – я не стану таиться от тебя дольше: я ждал твоей помощи, чудодейственного высвобождения; свершится, – думалось мне, – некое великое событие, пробьется в расщелинах свет, и после сильных ударов в дверь прогремит громкий приказ: „Лазарь, восстань!“ Столько лет ждал я громоподобного гласа триумфатора; ты не явился, и я уже ни на что не надеюсь больше.

И если я еще жду чего-то, так это помощи и высвобождения. Некоего гласа, что вззовет ко мне в моем заточении. Видно, он не громок, а так слаб, что я должен поддержать его собственным голосом. И видно, это голос не приказывающий, но просительный: „Восстань, Лазарь! Восстань, чтобы помочь нам!“

Если ты не в силах помочь себе сам, то кто поможет тебе? Кто придет высвободить тебя, если ты не способен на это? Все объято сном в неведомом мире; по-детски всхлипнет боль губами спящего; ребяческий сон, что-то о поезде; исчезающий сон чертит что-то на стенах тюрьмы. И вдруг он явится – постучит в окно и призовет тебя воспрянуть ото сна, – тот небывалый день. Распознаешь ли ты его, очнешься ли, воспрянешь ли духом?

Ты, видно, ждал светопреставления: так услышь тихий, просительный зов. Может быть, день, встретить который ты жаждал, наступит не как праздник, а как будни, как понедельник жизни, как обычный грядущий день».

Над лесами брезжит рассвет.

Зал ожидания

Перевод Валентины Мартемьяновой

«Скоротаю ночь в ресторане, – решил Заруба, когда поезд уже подходил к станции, – или проваляюсь где-нибудь на лавке в зале ожидания, подремлю часа три-четыре и с первым утренним поездом отправлюсь дальше. Боже мой, только бы побыстрее! Еще есть надежда, еще все можно спасти; впереди еще столько времени!»

Однако ресторан был уже закрыт, а единственный зал ожидания заполнили солдаты воинского эшелона. Они устроились на лавках и на столах; словно груды трупов валялись, уткнувшись лицом в смятую бумагу. Заруба к поискам спасения пробрался в коридор; здесь было холодно; два газовых рожка еле мерцали в промозглом сумраке; пахло дегтем и уборными; несколько человек дрожало от холода и зевало на лавочках, тупо покорившись неизбежности долгого ожидания. Но здесь нашлось небольшое местечко, где можно было приклонить голову усталому человеку.

Заруба приглядел себе лавочку и угнездился там, соорудив из себя самого закуток для сна, постель, пристанище... «Ох и неудобно! – Заруба стряхнул оцепенение. – Как бы уложить ноги?» Он долго и упорно размышлял над этим; в конце концов ему совсем по-детски захотелось растянуться во весь рост, и он разлегся на лавке.

Но лавка оказалась слишком коротка. Заруба отчаянно воевал со своими размерами, огорченный столь яростным их сопротивлением; он лежал, будто стреноженный, без движения, по-мальчишески щуплый, и смотрел на большие световые пятна, которые кружились во тьме, словно на вертящемся диске. «Ведь я уже сплю», – блеснуло у него в голове, и в то же мгновение он открыл глаза; он увидел, как отдаляется, словно убегая, угол стены, и пришел в страшное замешательство. Заруба в испуге искал хоть какой-нибудь знакомый ориентир, но не мог сообразить, где он и что с ним. Собрав всю свою волю, он встал. Снова увидел длинный и холодный коридор, но в еще более мрачном свете и, поняв, что сон совершенно прошел, ощутил во рту горький привкус пробуждения.

Опершись локтями о колени, он думал о своем. «Ах да, еще завершить вот это, последнее, да, да, добиться спасения! Ведь у меня еще столько времени!»

Он в рассеянье разглядывал грязные плитки коридора, видел растоптанные бумажки, мерзкие плевки, следы бесчисленных ног... А там вот словно лицо: глаза — из грязи и рот — из слюней, безобразное подобие ухмылки...

Почувствовав отвращение, Заруба поднял взгляд.

Вот лежит на лавке солдат, запрокинул голову и стонет, будто умирающий. Спит женщина; на ее коленях — голова девочки; у женщины злое и жалкое лицо; она спит, а девчушка смотрит по сторонам бесцветными глазами и что-то шепчет; у нее длинный, выступающий вперед подбородок; на худеньком личике прочерчен широкий рот — такая маленькая старушонка с бегающим взглядом печальных, широко расставленных глаз.

А на этой скамейке сморило дородного дядю, и он безвольно клонится вниз с тупым удивлением на опухшем от сна лице и будет валиться, словно мягкий куль, до тех пор, пока не наткнется на какую-нибудь опору.

Из-под зеленой шляпы выглядывают черные живые глаза молодого мужчины. «Иди ко мне», — насвистывает он сквозь щели съеденных зубов. «Иди сюда», — шепчет он и улыбается. Бледноокая девчушка вертится от смущения и улыбается страшной старушечьей улыбкой; зубов у нее нет вовсе. «Иди сюда», — продолжает свистящим шепотом молодой человек и подсаживается к ней сам. «Как тебя зовут?» — спрашивает он и гладит ладонью ее коленки. Девчушка недоверчиво и неприятно усмехается. Спящий солдат храпит, словно пришел его смертный час. Заруба дрожит от холода и отвращения.

Половина первого ночи. Время двигалось мучительно медленно, и от растущего помимо воли напряжения Заруба почувствовал себя развинченным и бессмысленно издерганным. «Ладно, — сказал он себе, — надо закрыть глаза и так вот, не думая, не двигаясь, продержаться как можно дольше, целые часы, пока не пройдет время».

В полном оцепенении застыл он на лавке, принуждая себя держаться, пока хватит сил; бесконечно долго тянулись минуты; счет без чисел, пауза за паузой, промедление за промедлением. Наконец, спустя какое-то время, казавшееся невыносимо долгим, он открыл глаза. Пять минут второго. Коридор, бумажный мусор, девочка, все

тот же дробный, старческий смех. Ничего не изменилось. Все оцепенело в недвижимой, неотступной реальности.

И вдруг Заруба открыл для себя еще одного человека. Тот сидел в углу неподвижно, как и он сам, и не спал. «С ним творится то же, что и со мной, – подумал Заруба, – эта пытка временем не дает уснуть и ему. О чем он думает? О бесконечности ожидания – как и я?»

Человек вздрогнул, будто этот вопрос был ему неприятен. Заруба невольно задержал взгляд на его бесформенном лице; заметил, что оно беспокойно дергается, словно человек пытается согнать назойливую муху. Неожиданно незнакомец поднялся, на цыпочках прошел весь коридор и сел возле Зарубы.

– Вас побеспокоил мой взгляд? – понизив голос, спросил Заруба.

– Да.

Оба помолчали.

– Посмотрите, – после длительной паузы заговорил незнакомец, показав пальцем на пол, – это пятно похоже на человеческое лицо.

– Я уже заметил.

– Уже заметили, – задумчиво проговорил человек, – значит, состояние у вас такое же, как у меня.

– Какое?

– Нет ничего мучительнее ожидания, – ответил человек.

– Но какое у меня состояние?

– Вам тяжело. Тяжко ждать. Что бы ни произошло – все равно это освобождение. Нет ничего мучительнее ожидания.

– Зачем вы мне об этом говорите?

– Просто потому, что ждать действительно тяжело. Вы, как и я, разглядывали лицо, нарисованное на полу грязью и плевыми; и вас томило ожидание. Нет ничего мучительнее настоящего.

– Отчего?

– Оттого, что ждать тяжело. – Человек умолк и уставился в землю.

– Куда вы едете? – немного погодя спросил Заруба.

– Куда глаза глядят, – рассеянно ответил незнакомец. – Лишь бы отвлечься. Часто встречаются красивые места. Едешь-едешь, ничего уже не ждешь и вдруг – такой прекрасный уголок. Представьте себе речку, или родник в лесу, либо дети, то есть нечто неожиданное и прекрасное. И вы в полном изумлении осознаете, что это и есть счастье.

– А что такое счастье?

– Да ничто. Просто его встречаешь. Словом, это нечто удивительное. Вы когда-нибудь думали о языческих божествах?

– Нет, никогда.

– А дело было так: никто их не ждал – но они вдруг объявлялись: где-то в кустах, в воде, а может, в пламени костра. Оттого они и были так прекрасны. О, если бы я мог это выразить! Если бы мог!

– Почему вы вспомнили о богах?

– Просто так. Счастье нужно встречать случайно и с лета. Счастье – это такой редкий случай! Такая неожиданность, что невольно воскликнешь: «Ах, вот это приключение!» С вами случилось такое?

– Случалось.

– И тогда вам представляется, что это сон. И самое прекрасное – похоже на приключение. Там, где любовь перестает быть приключением, она становится мукой!

– Но отчего это, отчего?

– Не знаю. Любовь не могла бы длиться, если бы не становилась мукой. Вы помните, у древних одно и то же слово обозначало счастье и случай. И слово это было именем богини.

«Фортуна, – с тоской подумал Заруба. – Если бы только она встретилась мне теперь! Но трудно рассчитывать на Фортуну!»

– Ждать трудно, – снова проговорил человек, – трудно и мучительно; чего бы вы ни ждали, вы ждете единственного: конца ожидания, освобождения от ожидания. Ждать так тяжело, что чего бы вы ни дождались, это уже не принесет ни наслаждения, ни счастья, это будет само по себе удивительно и печально, пронизано болью ожидания – не знаю, как тут выразиться. Таково всякое искупление: оно никогда не бывает настоящим счастьем.

«Зачем он все это говорит? – подумал Заруба. – Неужто я не буду счастлив, если дождусь?»

– Люди ждали самого бога, – продолжал незнакомец, – а что за человек явился избавить их от ожидания! Он не был ни пригож, ни приметен с виду, никудышный из никудышных, страстотерпец; он нес недуги наши, страдал нашими печальми, словно и не был богом.

– К чему вы говорите об этом?

– Ожидание – ах, как тяжело ожидание! Даже бога оно сломит и унижит. Долгие годы люди ждут счастья, большого и прекрасного события, и наконец оно приходит – крохотное, убогое, словно печаль;

но вы говорите: «Да, господи, это то, чего я столько лет ждал! В этом мое искупление».

– Что вы хотите сказать?

– Я понимаю это так: единственная награда за ожидание – конец ожидания, и только поэтому ждать стоит. И только поэтому ждать нужно. В этом смысл нашей веры.

– Какой веры?

– Любой, – ответил человек и умолк.

Люди, спавшие в коридоре, пробуждались, расхаживали мимо них. Беззубая девчушка уснула на руках у матери, скрывшись под ее шалью. Жизнь пробудилась, она была бесцельной и нескладной, но она началась и уже не могла замереть.

– А что вы имели в виду, когда вспомнили о богах? – громко спросил Заруба у незнакомца.

– Они были прекрасны, – ответил человек, – достаточно было везения либо случайности – и ты мог их увидеть и сам немножко стать богом. Вот я и думаю: удивительное дело – счастье, диво дивное – красота и счастье, – оттого они и могут случиться лишь по чудесной случайности. Но ожидающий всегда ждет чего-то, что должно произойти; должно наступить нечто такое, что завершит его ожидание. Право, каждый чего-нибудь ждет... и вы тоже; мы сошли со стези радости, чтобы дождаться великого. Ах, ждать – это страшное напряжение, почти как религия. Но чем больше мы ждем... Пускай же приходит что угодно, все равно это будет искупление. Смотрите, уже рассвело...

На вокзал хлынул поток людей – со смехом, кашлем и гомоном. Гомон большой метлой пронесся по коридору, смел слежавшуюся тишину и овеял пропыленные голоса. Пассажиры поднимались с лавок, стряхивали путы сна и оглядывали друг друга без неприязни, словно совместный ночлег объединил их.

А на улице, за окнами, занимался день.

Незнакомец, разговаривавший с Зарубой, затерялся между людьми. Снова толпа, билеты, крик и звонки. Черный и грохочущий поезд въехал на вокзал, всосал толпу, посипел, выдохнул пар и рванулся к цели. «Господи, только бы побыстрее, – думал Заруба, – еще не все потеряно; пока еще есть надежда».

Надпись

Перевод Валентины Мартемьяновой

Вздыхнув, Квичала остановился у дверей, теша себя мыслью, что его визит развлечет Матиса – они поболтают, и это немножко расшевелит больного.

Звонок прозвенел так коротко и нетвердо, что у Квичалы тоскливо сжалось сердце; ему почудилось, будто там, за дверью, звук боязливо, вслепую пробивает себе путь сквозь толщу застоявшейся мертвой тишины. Не снимая пальца с кнопки, Квичала прислушался. Дверь отворила старушка мать в домашних шлепанцах, шепотом пригласила войти. Квичала ступал на цыпочках, сам не зная почему; через приоткрытую дверь он увидел Матиса, который лежал на постели, отвернувшись к стене, и будто бы дремал.

– Кто там? – равнодушно спросил больной.

– Пан Квичала, – шепнула старушка и скрылась.

Матис посмотрел на приятеля повеселевшим взглядом.

– Очень мило с вашей стороны! Да болезнь пустяковая... плевроит... какой-то эксудативный... Недели через две поднимусь.

Квичала заставил себя улыбнуться. Ему было худо в душной комнате, где слабо и неприятно пахло компрессами, потом, чаем и яйцами. Его умилил небритый подбородок Матиса и его прояснившийся взгляд; он пожалел, что не захватил с собой ни прохладного апельсина, ни свежего букетика, который можно было бы поставить на ночном столике среди скомканных носовых платков, остатков пищи и неразрезанных книг. Он с трудом преодолевал брезгливую тошноту.

Квичала попытался было завязать разговор, пересказывая новости, и сердился на то, что голос у него стал вдруг чужим, будто подернулся пленкой. Он чувствовал на себе взгляд больного, пристальный и в то же время отсутствующий, – и спешил выложить свои новости, мечтая поскорее убраться восвояси.

Матис расспрашивал о знакомых, но Квичала угадал, что это – лишь завистливый интерес больного к здоровым, и отвечал все более скупое. Вскоре все темы были исчерпаны. Хоть бы распахнуть окно! Послушать, как там, на воле! Перенестись туда хотя бы частицей

души! Квичала угрюмо избегал упорных и каких-то отрешенных взглядов друга; старался не смотреть на жаркую и смятую постель; нарочито не замечал засохшей грязи на ночном столике; он перевел глаза на окно, пыльное, почти не пропускавшее света, на окно, через которое можно вырваться наружу...

– Взгляните-ка, – вдруг произнес больной, показывая пальцем на стену у изголовья.

Квичала наклонился; на стене виднелось еле заметное, полустершееся слово, дважды подчеркнутое карандашом.

– «Назад», – прочитал Квичала.

– Что вы на это скажете? – тихо спросил Матис.

– По-видимому, это было написано много лет назад.

– Сколько, по-вашему?

– Трудно сказать. Может, пять, а может – десять... Когда здесь в последний раз делали ремонт?

– Я спрашивал маму, – ответил Матис, разглядывая серый потолок, – наверное, лет десять прошло, а то и больше. Я не позволял делать у себя ремонт.

Квичала поспешно отвернулся к окну.

– Нет, вы присмотритесь, – настаивал больной, – вам это ничего не говорит?

Квичала снова перегнулся через постель.

– Написано мужской рукой. В волнении и спешке, так что в одном месте даже обломился графит. Дальше писавший прямо царапал стену. Причем в потемках. Этот крючок выведен как-то странно... А вызывающе длинные линии у «з» и «д» говорят о решимости.

– «Назад», – повторил Матис. – Что бы это значило, как по-вашему?

– Бог его знает; видно, какое-то решение. Скажем, что-то вернуть...

– Или самому к чему-нибудь возвратиться?

– Возможно. Но отчего вы меня спрашиваете об этом?

– Да просто так. Вот думаю, к чему было здесь это писать?

– Видно, кого-то посетила счастливая идея, а может – озарение. Вот он и начертил нечто вроде девиза, чтоб не запомнить. Но отчего вас это так волнует?

– Оттого что надпись сделана моей рукой, явно моей, а я не могу даже вспомнить, когда и зачем я ее нацарапал. Вот и ломаю себе голову, что бы это значило?

– Ну, теперь-то уже ничего...

– Теперь – нет, а вот тогда... Я разглядел надпись недавно, во время болезни. Раньше я никогда ее не замечал, только теперь. И вот размышляю от нечего делать...

– Над чем? – встрепнулся отвлекшийся было Квичала.

– Я редко думал о прошлом, – признался Матис, прикрыв глаза. – К чему? Ведь в минувшем все так просто. Человек привыкает к прошлому. Все в нем представляется ему знакомым. А вот теперь я не могу припомнить, на что я тогда решался; не помню, куда я хотел возвратиться и что так угнетало меня здесь; не помню даже, когда это происходило. Никакого проблеска в памяти... А вас кинувшее не поражает, не приводит порой... в смятение?

– Нет, – чистосердечно признался Квичала.

Больной нетерпеливо передернул плечами и умолк.

– Не знаю, когда и для чего я это нацарапал, – начал он снова, – но мне припомнилось множество случаев, когда это слово могло показаться мне спасительным. В голову приходят все новые и новые моменты, когда я мог это написать. Или, более того, исполнить.

– То есть как исполнить?

– Не знаю. Меня уже давно занимает мысль, каким образом это можно было исполнить. «Назад», да, «назад», но к какому пределу? Пока лежишь, чего только не всплывает в памяти... Что же в прошлом было такого, к чему все-таки стоило возвратиться? Там было немало прекрасного. Мне многого жаль. И прежде всего – ушедшей любви. Изредка мелькнет давняя излюбленная идея. Но много, невероятно много я накрепко позабыл, и об этом думаю сейчас непрестанно. Прошлое так поразительно живо! Оно – неисчерпаемо.

Квичала вздохнул; духота становилась нестерпимой. Эх, улица за окном! Свет, простор! Быстрота, движение!

– Прошлое вовсе не так понятно, как мне представлялось, – обронил Матис словно про себя. – Оно совсем неоднолико. В минувшем творились такие невообразимые, немыслимые дела. Мне иногда кажется, будто я стою на краю почти неведомого мира; кое-что для себя я открыл, а остальное уходит куда-то в бесконечность, в такие дали, о которых я и не подозревал, не имел представления... И надо считать великим милосердием то заблуждение, будто наше

прошлое нам известно; известно лишь немного, а все остальное... Большую часть прошлого нам следовало бы пережить заново.

Квичала вслушался: на улице звенит трамвай, все громче шум шагов, гулко рассыпается грохот дребезжащей повозки; пронзительно-звонко кричит ребенок, а здесь от звуков, проникших сквозь стекло, остаются лишь бледные тени; они лишены всего осязаемого и реального; отсечены от шума, который бьется о стекло снаружи, и сливаются с тишиной.

– У нас здесь так тихо, – проговорил больной, – и время тянется бесконечно. Я думаю о прошлом, многое из него не должно было бы исчезнуть бесследно. О чем ни подумаю – ничто не заслуживает забвения. Только теперь стоило бы пережить все это заново, сознательно продлевая минуты... даже тягчайшие. Я словно выпустил их из рук, не понимая еще, что они такое; и самые драгоценные из них...

– Ты слишком одинок, – заметил Квичала.

– Да. Через две недели я снова встану на ноги и, наверное, опять забуду, что некогда написал «назад». Но теперь это слово будто высечено на скале. «Назад». Прошлое – лишь намек, эскиз; все осталось незавершенным, только обозначенным – как начало и предвестие грядущего... «Назад!» Наверное, каждый из нас в свое время ощутит потребность в этом и захочет вернуться – словно домой – «назад»! Нет, нет – не «назад», не к самым началам, к самым первым шагам; но «назад» к концу, к «довысказыванию», «довершению» самого себя, «назад» – к последним шагам... Немыслимое возвращение, но не к тому, что уже бесплодно. Нет, «назад» – ни в коем случае.

Квичала поднялся.

– Значит, недели через две встретимся, – улыбнулся Матис. – Извините, я так давно молчу, не с кем словом перемолвиться. Кланяйтесь всем от меня.

Рука у него была горячая и сухая. Ох, поскорее бы на улицу! Животворная прохлада, улица, люди, люди! И «вперед» – от всего, что здесь есть!

История без слов

Перевод Валентины Мартемьяновой

Ночью леса таинственны, словно бездонный омут, и ты в молчании любишь звезду, поднявшуюся над Мелатином, думая о зверушках, что сладко спят в глуши леса, о глубоком сне, объявшем вселенную, и о том, что неизменно бодрствует в твоей душе.

Нескончаемы, бесконечны пасмурные дни; сколько раз ты бродил по лесу в такое время, – о, неисчислимы шаги и неодолимые воспоминания! – и никогда тебе не удавалось пройти всех дорог и припомнить все бывшее: так обширны и таинственны леса над Мелатином.

Но сегодня – знойный августовский полдень: жаркие просеки меж кронами деревьев и глушь, рассеченная серпом света; день такой ясный и яркий, словно вы поредели и расступились перед солнцем, темные, глубокие леса. Зной иссушил мои воспоминания, и я погрузился в дрему – не знаю отчего: от истомы ли, а может – от усталости, убаюканный белыми зонтиками, что раскачиваются над моей головой...

В один из таких дней Ежек шел по лесу, довольный, что голова пуста и нет надобности ни о чем думать. Вольно веет теплом от стволов. Упала шишка – позабыла, наверное, что надо держаться, – ведь вокруг так безветренно; верхушки деревьев дрогнули, и отовсюду полился свет. О, какой славный, дивный день! Какое серебристое сверкание излучают трепетные колоски метлицы!

Радость или что-то похожее на тихую печаль разлилось в душе Ежека, и он, умиротворенный, вслушивался в томное бормотание леса.

Ослепленный солнцем, стоял он на краю пасеки, где неслышно, чуть дрожа, струился знойный воздух. Но что это? Перед ним человек. Лежит, уткнувшись носом в землю, и не двигается. Мухи ползают по его вытянутой руке, а он и не пытается спугнуть их. Неужто мертв?

В благоговейном ужасе наклонился Ежек над напряженно вытянутой рукой, в которой была зажата старая широкополая шляпа.

Мухи даже не подумали улететь. На потертой подкладке еще можно было разобрать несколько букв... эрто, ел... сол.

«Пуэрто-дель-Соль», – догадался Ежек и, пораженный, заглянул в лицо мертвому. Но человек вдруг открыл глаза и проговорил:

– Нет ли у вас закурить?

– Пожалуйста, – поспешно откликнулся Ежек и вздохнул с немалым облегчением. Человек взял сигарету, старательно размял ее и, перевалившись на другой бок, закурил.

– Благодарю, – проговорил он и умолк.

Человек был немолод, с сединой в волосах, с расплывшимися чертами широкого лица; по-видимому, он сильно исхудал, одежда собиралась на нем странными, неживыми складками. Вытянувшись во весь рост, он лежал на боку и курил, уставясь взглядом в землю.

«Пуэрто-дель-Соль, – размышлял Ежек. – Ворота солнца. Что же он делал в Испании? На путешественника не похож... Видно, нездоров, глаза, словно у великомученика. Пуэрто-дель-Соль в Мадриде».

– Вы были в Мадриде? – неожиданно вырвалось у Ежека.

Незнакомец согласно засопел, но не ответил.

«Мог бы сказать, кто он и откуда, – подумал Ежек, – слово за слово, разговорились бы... Впрочем, он мог бы и подтвердить – да, мол, был в Мадриде, но это не самый далекий город, где я побывал; есть места куда красивее, жизнь там – совсем непохожа на нашу. Бог знает, чего можно выдумать. Ага, он о чем-то вспомнил».

Незнакомец едва заметно шевельнул рукой и в задумчивости уставился куда-то.

«Может, он догадается. Вижу, мол, вы смотрите на меня с интересом; вы решили, что я мертвый, и с жалостью склонились надо мной; за это я расскажу вам историю своей жизни. Не прерывайте меня, если что-нибудь покажется несвязным или легковесным. Отгадайте по моему лицу – легко ли, просто ли мне жилось. Вот так мог бы он начать...»

Но человек все молчал и не спеша затягивался, обратив светлый, невидящий взгляд в пространство.

«Наверняка он о чем-нибудь расскажет, – думалось Ежеку, – просто трудно подыскать слова для описания собственной жизни. Ладно, подожду».

Он лег на спину. Солнце ударило ему в лицо и проникло под опущенные веки; красные и черные круги заплясали перед глазами.

Тепло набегало плавными, огненными волнами, и Ежеку было легко, словно его качало на черных и красных кругах, уносило приливом плавных волн, движением вечным и неизменным. Куда увлекает нас это сильное, захватывающее движение? Ах, не все ли равно? Ведь это лишь незримые движения жизни, лишь жизнь может двигаться, неизменно оставаясь самой собой.

Внезапно он повернулся. По руке пробирается светленький муравьишка, не ведая, зачем и куда он спешит по поверхности, слишком для него просторной. «И нас, – подумалось Ежеку, – волнует мир, он и для нас слишком широк, так же, как для тебя, муравей: эти дали, странник, это неутешимое смятение! Отчего ты торопишься? погоди, не спеши, я не сделаю тебе ничего плохого, хоть я и большой. Ах ты, маленький любитель приключений, неужто только страх гонит тебя вперед? Станный, безотчетный и отчаянный страх одиночества? Или смутная тоска? А где ж врата, через которые ты хотел спастись?»

Совсем рядом – стоит протянуть руку – на цветок опустилась бабочка; она раскачивается на белом зонтике, широко раскинувшись, трепеща легкими крылышками, закрывая и раскрывая их движением чарующим и сладостным, сладостным до боли. Ах, не исчезай, очарование! Не сокрушай моего сердца извечным движением отлета! Остановись и позволь убаюкать тебя, о мгновение любви, мгновение утраченного равновесия, жест незавершенного совершенства... Прелестная встреча после тяжких страданий дороги! Волшебные крылья девственно дрогнули, и бабочка, легкая, словно мимолетное мгновение, исчезла внезапно, непостижимо, как будто за ней вдруг захлопнулись ворота.

Ежек посмотрел вверх. Куда же это унеслось? Куда несетесь вы, легкие светлые облака, в своем бесцельном и неутомимом движении? Ах, унести бы вместе с вами – просто ради величия неба; унести по той лишь простой причине, что небесный простор велик и бесконечен, оттого, что велика и бесконечна мечта. О милосердное небо, душа моя безыскусна, как и мой взор. Но отчего вы устремлены далеко за горизонт, мирные очи? Отчего, безыскуснейшая душа, ты вмещаешь в себе демоническую добродетель смятения? Как высоко, головокружительно высоко плывут облака – где-то у врат солнца.

Пуэрто-дель-Соль! Ежек оглянулся. Человек, на которого он наткнулся, спал; лицо его казалось неясным и измученным, мягким и широким.

Тогда Ежеч поднялся, стараясь не разбудить незнакомца, и побрел по разогретому лесу – в рассеянии, без дум, словно обогащенный чем-то. Как будто выслушал историю жизни, не очень попятную, но близкую, не слишком связную, но тем не менее историю... У него было такое чувство, словно он выслушал историю чужой жизни и уже забывает ее.

От поцелуя до поцелуя

Перевод Елены Элькинд

Один богатый человек женился на красивой молодой девице, которая, однако, вскоре умерла, оставив ему маленькую дочь Елену. С годами Елена превратилась в горячую и своевольную девушку, нрав ее складывался без смягчающего влияния матери, и потому Елена была неуступчива во всем. И главное, отвергала всех поклонников, искавших ее расположения, словно бы в гордой независимой холодности пренебрегала любовью вообще. В то время среди служащих ее отца был один ветрогон по имени Якуб, и он в Елену без ума влюбился. Она об этом не желала знать, ибо считала себя много выше всех, кто ее окружал, — и вот любовь его росла в муках и ярости, распалявших его еще больше. Ну а Елена мнила, что любовь ей вовсе не нужна. Но время шло — и сердце ее теснилось грустью и разгоралось; глаза украдкой останавливались на Якубе, сверкая, и дразня, и приводя в смущение; теперь Елена, как могла, старалась отвратить свои мысли от Якуба, человека подчиненного.

А это и было началом чувства, которое росло посреди одиночества и гордости, пока не пересилило всю непреклонность Елениного нрава: в угаре девичьих мечтаний и слез Елена поняла, что любит, и решилась.

И началось их постепенное сближение, а значит, пора первых радостей; впервые и без остатка захватывает их блаженство нечаянных встреч и внезапных румянцев, взглядов, намеков; руки сплетаются в мимолетном пожатии и принимают записки; первое «ты», рожденное нетерпением и неловкостью. Вот они в первый раз наедине, бросаются друг к другу, обжигают поцелуями и нежными словами. И кажется, вовек им не насытятся своими поцелуями, вовек не остудить пыла своих речей; позднее, однако, придется вести себя осмотрительно, уславливаться и задумываться о своей любви и ее последствиях. Но скоро всякая осторожность позабыта — они не расстаются целый день. Их единение непрерываемо во времени; в круговороте радости клялась Елена, что любовь ее — навеки.

Но вот отец застал свою дочь в объятиях Якуба, и молодому человеку указали дверь. Елена по прошествии некоторого срока

ощутила себя матерью. Отец тут же устроил ее брак с одним своим малозначительным знакомым, человеком низменного нрава. Вскоре затем родилась у Елены девочка – дочка Якуба. Муж теперь все терзал Елену с превеликой жестокостью и себе в удовольствие, и Елена страдала и чахла от горьких мучений. Якуб обо всем этом знал и однажды на улице так расправился с ее мужем, что он – человек и без этого хворый – от страха и от ран скончался. Якуба судили и приговорили к пяти годам заключения. А Елена с ребенком уехала куда-то далеко и пребывала в трауре, снискав себе похвалы за холодность и стойкость, с какими отвергала всех поклонников, плененных ее красотой.

Якуб же пять лет находился в заточении, и все пять лет сверлила его одна мысль: ждет ли Елена? Это рождало в нем такую неизменную печаль, что все считали его просто слабоумным. В эти пять лет утратил он всю живость своего характера, и ни кровинки не осталось у него в лице; ночи он проводил без сна и, когда через пять лет вышел из тюрьмы, – сразу же принялся разыскивать Елену; но найти след ее ему не удавалось, никто не знал, куда она уехала.

Елена между тем жила далеко в другом городе, с ребенком, к которому проявляла необычную холодность и суровость. Ни мысль, ни сердце ее не искали единения ни с кем. И вот однажды очутился Якуб возле того дома и увидел стоящую на балконе Елену. Тогда он сел возле Дороги, не отваживаясь войти: ведь он был острижен по-арестантски, и желт лицом, и грязен, как бродяга. Прохожие пугались его и давали ему милостыню.

Просидев так семь дней, он наконец решился и вошел. Но госпожа Елена его не узнала, велела вывести и ничего ему не давать.

А он сказал:

– Я тот, кого называли Якубом.

Тогда она предложила ему сесть и спросила, чем может служить, и при этом смотрела такими глазами, что спазма сдавила ему горло, и он не мог произнести ни слова. Тут в комнату вошла его маленькая дочь, – Елена шлепнула ее и отослала. Якуб потупился, увидел, как он оборван и жалок, и подумал, что видом своим оскорбляет Елену: он арестант и нищий, она же стала важной дамой, – и, не сказав ни слова, ушел, полный любви и горечи, – ведь больше некого ему было любить, кроме Елены.

Елена так и продолжала жить с холодной головой и пустым сердцем, а Якуб уехал далеко оттуда, в другой город, чтоб стать

влиятельным, богатым и известным и встретиться потом с Еленой, как равный с равной. Вот понемногу становился он богатым, изнашивался, приобрел известность. Все изумлялись его энергии и воле, Якубом же владела только одна мысль: скорей разбогатеть и встретиться с Еленой.

И вот спустя четыре года приехал он к Елене снова. Приехал в таком великолепном экипаже, что вся ее прислуга встала у дверей, приветствуя его поклонами. Но он взбежал по лестнице, чтобы скорей увидаться с Еленой; она его, однако, не узнала.

– Я ведь Якуб, – сказал он.

А она сказала:

– Что вам угодно?

Спазма сдавила ему горло, и он не мог произнести ни слова. К Елене в это время подошла их дочь; Якуб ей улыбнулся, но слезы подступили у него к глазам, – он понял, что прошло уж десять лет с того дня, как они с Еленой в первый раз поцеловались. И тут Якуб подумал, что ему надо помочь Елене вспомнить их былую любовь, стал ей припоминать их встречи, интимные подробности, известные только ему и ей, стал рисовать дом, сад, все дни, как протекали они чередой, – что тогда говорилось, что происходило, какими радостями полнились их жизни.

– Я этого не помню, – отвечала она.

Якуб тогда начал рассказывать, как жил пять лет в тюрьме, как принужден был исполнять постыдную, унижительную работу, как вспоминал Елену и ждал встречи; в подробностях описывал муки томительных часов, свою одинокость, терзания любви и опасения; и можно было различить морщины, врезавшиеся в его лицо. Елена оставалась безразличной.

Тогда Якуб начал рассказывать, как он потом искал ее повсюду и наконец нашел, и как не мог заговорить, и как потом хотел ради нее добиться славы и богатства, как это удалось ему, каким он стал богатым и влиятельным. Но чем дольше он говорил, тем все более безучастной и отчужденной казалась Елена.

Тогда Якуб сказал, что хорошо бы им вместе воспитывать ребенка, чтобы у девочки были отец и мать.

– Я не люблю ее, – сказала Елена.

Взяла тогда Якуба страшная тоска: он видел, ничто их не соединяет с Еленой, они словно разделены навеки. Видел, что сердце ее умерло, закрыто для любви, и воскресить его невозможно. Он

подумал поэтому, что ему надо бодрствовать возле этого мертвого сердца, как, по обычаю, бодрствуют возле почившего и посвящают памяти его благие поступки. И вот он продал все свое имущество и поселился около Елены; бывал у нее каждый день, но говорить о ней, или о себе, или о чем-то близком им обоим мешали ему слезы, застилавшие глаза, и потому он говорил лишь на возвышенные темы, стоящие над повседневной жизнью; у окружающих Якуб прослыл философом и пользовался величайшим уважением.

Так продолжалось несколько лет, и у него возникла мысль уехать на край света, чтоб забыть Елену. В последний вечер он пришел, но ни о чем ей не сказал, вел легкий разговор о пустяках, чтобы ее развлечь, — Елена оставалась апатичной и холодной. Потом Якуб поднялся, сказал ей «до свидания» и стал сходить по лестнице, но на последней ступени вскрикнул — так сдавило ему сердце — и опрометью бросился обратно, схватил Елену и рванул к себе. Елена сопротивлялась отчаянно; Якуб словно не сознавал происходящего, ему казалось лишь, что долгие и бесконечно тяжкие часы он борется против неодолимой силы, которая не уступает; потом кровь кинулась ему в лицо, и он уже не понимал, что делает. И только спустя некоторое время понял, что Елена обвила руками его шею и целует горячо и ненасытно, а он несет ее, как двенадцать лет тому назад, и осыпает поцелуями и нежными словами. И вот эти двенадцать лет исчезли: Елена у него в объятиях, целует и зовет его на «ты», в смятении и стыдливости трепещет, льнет к нему всем телом и всем сердцем, сопротивляется и расстаётся с жизнью, умоляет и смеется. Вовек им не насытиться своими поцелуями, вовек не исчерпать сокровищницу своих радостей; времени не расторгнуть их объятий, и временем не измерить их счастья, вечностью самой не измерить счастья их любви.

А утром, когда Елена спала на плече у Якуба, ему подумалось, что незачем было отсиживать пять лет в тюрьме и сносить унижения постылой работы, ни к чему было наживать капиталы, поместья, искать постов и власти, ни к чему набираться ума, делаться многодумным и почитаемым, как философ: все это было лишь минутой промедления от поцелуя до поцелуя, непрошеной заминкой в ласках двух любовников.

— Сколько воды утекает от поцелуя до поцелуя, — сказал он вслух.

Елена открыла свои прекрасные глаза и посмотрела на Якуба, словно удивляясь, что он с ней; тогда Якуб поцеловал ее и сказал:

– Вчера в отцовском доме ты заснула у меня в объятьях и спала глубоким сном без сновидений, в глубоком сне без сновидений пробыла ты от поцелуя до поцелуя.

Лицо Елены было бледно.

– Сколько сил жизни уходит от поцелуя до поцелуя! – шепнула она.

И где-то в глубине души почувствовал Якуб, что он уже немолод и смерть его не за горами.

Рубашки

Перевод Тамары Аксель

Как ни старался он думать о других, более серьезных вещах, тягостная мысль, что служанка обкрадывает его, была неотвязна. Иоганна так давно служит, что он отвык думать о том, какие вещи у него есть. Откроешь утром комод, вынешь чистую рубашку... Сколько времени проходит, – бог весть! – является Иоганна и показывает изношенную рубашку: мол, все они такие, пора, хозяин, покупать новые. Ладно, хозяин идет в первый попавшийся магазин и покупает полдюжины рубашек, смутно припоминая, что недавно делал какие-то покупки. «Ну и товары нынче», – думает он. А сколько всяких вещей необходимо человеку, даже если он вдовец: воротнички и галстуки, костюмы и обувь, мыло и множество разных мелочей. Время от времени запасы всего этого приходится пополнять. Но у старого человека вещи почему-то быстро снашиваются и ветшают, бог знает что происходит с ними: вечно покупаешь обновки, а заглянешь в гардероб – там болтается несколько поношенных и выцветших костюмов, – и не разберешь, когда они сшиты. Но, слава богу, можно ни о чем не заботиться: Иоганна подумает за него обо всем.

И только теперь, через много лет, хозяину пришло в голову, что его систематически обкрадывают. Вышло это так: утром он получил приглашение на банкет. Господи боже, годами он нигде не бывал, друзей у него мало, так что эта неожиданность прямо-таки сбила его с толку – обрадовала и испугала. Прежде всего он сунулся в комод: а найдется ли приличная рубашка? Он вынул из ящика все рубашки и не нашел ни одной не обношенной на обшлагах или на манишке. Позвав Иоганну, он осведомился, нет ли у него белья получше.

Иоганна вздохнула, помолчала, потом решительно объявила, что, мол, все равно пора покупать новые, она не успевает чинить, остались одни обноски, а не рубашки... Хозяин, правда, смутно припоминал, что он недавно покупал что-то, но, не вполне уверенный в этом, промолчал и немедленно стал одеваться, собираясь в магазин. Начав «наводить порядок», он заодно извлек из карманов старые бумажки, чтобы убрать или выбросить их, и обнаружил последний

счет за рубашки: заплачено столько-то такого-то числа. Всего каких-нибудь полтора месяца назад! Полтора месяца назад куплено полдюжины новых рубашек! Вот так открытие!..

В магазин он не пошел, а стал бродить по комнате, перебирая в памяти годы своей одинокой жизни. После смерти жены хозяйство вела Иоганна, и ему ни разу не приходило в голову заподозрить ее в чем-нибудь или не доверять ей. Но сейчас его встревожила мысль, что служанка обкрадывала его все эти годы. Он оглядел окружающую обстановку и, хотя не мог сказать, чего тут не хватает, заметил, как пусто и неуютно вокруг. Он попытался вспомнить, как выглядела комната, когда в его доме было больше вещей, больше уюта, интимности, больше жизни... В тревоге открыл шкаф, где на память о жене хранились ее вещи – платья, белье... Там лежало несколько очень поношенных предметов, от которых так и повеяло прошлым... Но боже мой, где же все, что осталось от покойной? Куда все это делось?

Он закрыл шкаф и попытался думать о другом, хотя бы о сегодняшнем банкете. Но неотступно возвращались воспоминания о протекших в одиночестве годах, и они показались ему еще более одинокими, горькими и пустыми, чем прежде. Словно кто-то обобрал его прошлое, сейчас от этих лет веяло мучительной тоской. А ведь иногда он даже бывал доволен жизнью, усыплен ею, как в люльке. И вот теперь он в испуге увидел себя, убаюканного бобыля, у которого чужие руки выкрали даже подушку из-под головы. Тоска сжала его сердце, такая тоска, какой он не испытывал с того дня... с того дня, как вернулся с похорон. И ему вдруг подумалось, что он стар и слаб, что жизнь обошлась с ним слишком жестоко.

Одно было ему непонятно: зачем она крала у него эти вещи? На что они ей? «Ага, – неожиданно вспомнил он со злобным удовлетворением. – Вот оно что! У нее где-то есть племянник, которого она любит бессмысленной старушечьей любовью. Разве мне не приходилось сотни раз выслушивать от нее всякий вздор о том, какой это превосходный образчик человеческой породы? Она даже показывала его фотографию: курчавый, курносый молодчик с нахальными усиками; тем не менее Иоганна даже прослезилась от гордости и волнения. Так вот куда идут все мои вещи!» – подумал он. Во внезапном припадке ярости он выскочил в кухню, обругал Иоганну «чертовой бабой» и убежал обратно в комнату. Удивленная

служанка испуганно поглядела ему вслед круглыми слезящимися глазами навывкате, словно у старой овцы.

Остаток дня он не разговаривал с ней. Иоганна обиженно вздыхала, швыряла все, что попадало ей под руку, и никак не могла понять, что же такое происходит. Днем хозяин подверг ревизии все шкафы и ящики. Картина открылась удручающая. Он вспоминал то одно, то другое, какие-то мелочи, семейные реликвии, которые сейчас казались ему необычайно ценными. Ничего этого не было, решительно ничего! Как на пожарище! Ему хотелось плакать от гнева и одиночества.

Запыхавшийся, весь в пыли, сидел он среди раскрытых ящиков и держал в руке единственную уцелевшую реликвию: расшитое бисером дырявое отцовское портмоне. Сколько же лет Иоганна воровала, пока не растащила всего! Он был разъярен; попадись ему сейчас служанка на глаза, он ударил бы ее. «Что мне с ней делать? – взволнованно думал он. – Выгнать? Заявить в полицию?..

А кто завтра сварит мне обед?.. Пойду в ресторан! А кто протопит печь и согреет воду?.. – Он изо всех сил отгонял эти мысли. – Завтра будет видно, – уверял он себя, – как-нибудь обойдусь. Я же от нее не завишу!» И все же это угнетало его больше, чем он ожидал. Только сознание нанесенной ему обиды и необходимости возмездия придавали хозяину решимости.

Когда стемнело, он собрался с духом и пошел в кухню.

– Съездите туда-то и туда-то, – сказал он Иоганне самым безразличным тоном и дал ей какое-то якобы срочное поручение, сложное и неправдоподобное, которое он не без труда выдумал. Иоганна не сказала ни слова и с видом жертвы стала собираться в дорогу. Наконец за ней захлопнулась дверь, и он остался в квартире один.

С бьющимся сердцем он на цыпочках подошел к кухне и, взявшись за ручку двери, заколебался: ему было стыдно, он почувствовал, что никогда не сможет открыть шкаф Иоганны. Как вор! И вдруг, когда он уже решил бросить эту затею, все произошло как-то само собой: он открыл дверь и вошел в кухню.

Там все сверкало чистотой. Вот и шкаф Иоганны, но он, должно быть, заперт, а ключа нет. Теперь это обстоятельство лишь утвердило хозяина в его намерении, и он попытался открыть замок кухонным ножом, но только исцарапал шкаф. Обшарив все ящики в поисках ключа и перепробовав все свои ключи, он после получасовых

ожесточенных попыток обнаружил, что шкаф вообще не заперт и его можно открыть крючком для застегивания сапог.

На полках лежало отлично выглаженное, аккуратно сложенное белье, и тут же, сверху, шесть его новых рубашек, перевязанных еще в магазине голубой ленточкой. В картонной коробочке нашлась аметистовая брошь покойной жены, перламутровые запонки отца, портрет матери – миниатюра на слоновой кости... Боже, и на это позарилась Иоганна!

Он стал вынимать из шкафа все, что там было. Вот его носки и воротнички, коробка мыла, зубные щетки, старомодный шелковый жилет, наволочки, старый офицерский пистолет и даже прокуренный и не годный ни на что янтарный мундштук. Все это, очевидно, были остатки, а большая часть вещей давно перекочевала к курчавому племянничку. Приступ ярости прошел, осталась только тоскливая укоризна: так вот оно что!.. «Ах, Иоганна, Иоганна, за что же вы со мной так обошлись?»

Вещь за вещью он уносил украденное к себе и раскладывал на столе. Солидная коллекция! Вещи Иоганны он свалил в ее шкаф, хотел даже аккуратно сложить их, но после неудачной попытки бросил эту затею и ушел к себе, оставив шкаф настежь, словно после грабежа. И вдруг он оробел: Иоганна вот-вот вернется и надо будет серьезно поговорить с ней... Ему стало противно, и он начал поспешно одеваться. «Скажу завтра, не все ли равно... На сегодня с нее хватит: она увидит, что все открылось...»

Он взял одну из новых рубашек. Она была тугая, будто картонная; сколько он ни старался, ему не удалось застегнуть воротничок. А Иоганна, того и гляди, вернется!

Он быстро натянул старую рубашку, хотя она была сильно поношена, и, кое-как одевшись, украдкой, словно преступник, вышел из дому и целый час бродил под дождем по улицам, так как идти на банкет было еще рано.

На банкете он оказался в одиночестве. Из попытки поговорить запросто и по-приятельски с бывшими однокашниками ничего не вышло, – бог весть, как их развела судьба за эти годы... Ведь они почти не понимали друг друга! Но он ни на кого не обиделся, стал в сторонке, слегка ошеломленный светом и многолюдьем, и улыбался. Вдруг сердце у него екнуло: а как я выгляжу! На манжетах бахромы, фрак в пятнах, а что за обувь, господи боже! Ему хотелось провалиться сквозь землю. Куда бы спрятаться? Кругом

ослепительной белизны манишки. Ах, если бы незаметно исчезнуть! Если пойти к дверям, все, пожалуй, станут глядеть на меня... Он даже вспотел от волнения. Делая вид, что стоит на месте, он медленно и едва заметно подвигался к выходу. Вдруг к нему подошел старый знакомый, товарищ по гимназии. Только этого не хватало! Он отвечал несвязно, рассеянно, чуть не обидел человека. Оставшись один, с облегчением вздохнул и прикинул расстояние до дверей. Наконец он выбрался на улицу и поспешил домой, хотя еще не было и двенадцати.

По дороге его снова одолевали мысли об Иоганне. Возбужденный быстрой ходьбой, он обдумывал, что скажет ей. Пространные, энергичные, исполненные достоинства фразы складывались в его мозгу с необычайной легкостью – целая рацея, исполненная сурового порицания и, наконец, снисхождения. Да, снисхождения, ибо в конце концов он простит Иоганну. Не выгонять же ее на улицу! Она будет плакать, обещая исправиться. Он выслушает ее молча, с неподвижным лицом, по потом скажет серьезно: «Даю вам возможность загладить ваш проступок, Иоганна. Будьте честной и преданной, большего я от вас не требую. Я старый человек и не хочу быть жестоким».

Его так обрадовала такая возможность, что он даже не заметил, как подошел к дому и отпер дверь. На кухне еще горел свет. Хозяин на ходу заглянул туда сквозь занавеску на кухонной двери и опешил. Что же это такое? Красная, опухшая от слез Иоганна возится в кухне, собирая свои вещи в чемодан. Хозяин изумился. Почему чемодан? Смущенный, подавленный, он на цыпочках прошел в свою комнату. Разве Иоганна уезжает?

На столе лежат все вещи, которые она у него стащила. Он потрогал их, но теперь они не доставили ему никакой радости. «Ага, – подумал он, – Иоганна увидела, что я уличил ее в воровстве, и решила, что я немедленно выгоню ее, и потому укладывается. Ладно, пусть думает так до утра... в наказание. А утром я с ней поговорю. Впрочем, она, быть может, еще придет с повинной? Будет плакать передо мной, чего доброго, упадет на колени и всякое такое. Ладно, Иоганна, я не жесток, вы можете остаться».

Не снимая фрака, он сел и стал ждать. В доме тихо, совсем тихо, так что слышен каждый шаг Иоганны. И снова тишина. Вот она со злобой захлопнула крышку чемодана... И снова тишина. Но что это? Хозяин испуганно вскочил и прислушался. Протяжный, прямо-таки

нечеловеческий вой... Потом какой-то лающий истерический плач. Стук колен об пол и жалобный стон... Иоганна плачет!

Хозяин ожидал чего-то похожего. Но это? Он стоял, прислушиваясь к тому, что происходит в кухне, сердце у него колотилось. Слышен только плач. Теперь Иоганна опомнится и придет просить прощения.

Он зашагал по комнате, стараясь укрепить в себе решимость, но Иоганна не появлялась. Он несколько раз останавливался, прислушивался. Плач продолжался, не ослабевая, – равномерный, однообразный вой. Хозяина испугало такое глубокое отчаяние. «Пойду к ней, – решил он, – и скажу лишь: „Ладно, запомните это, Иоганна, и больше не плачьте. Я вас прощаю, если будете вести себя честно“».

И вдруг стремительные шаги, двери настежь, в дверях Иоганна. Стоит и воет. Страшно смотреть на ее опухшее лицо.

– Иоганна... – тихо произносит он.

– Разве я это заслужила!.. – восклицает служанка. – Вместо благодарности... Как с воровкой... Такой срам!..

– Но Иоганна... – хозяин потрясен. – Ведь вы же взяли у меня все это... Поглядите! Взяли или не взяли?

Но Иоганна не слушает.

– Чтобы я да стерпела такой срам! Обыскать меня! Как какую-то... цыганку... Так осрамить меня... Рыться у меня в шкафу! У меня! Разве можно так поступать, сударь! Вы не имеете права... оскорблять. Я этого... до смерти... не забуду. Что я, воровка? Я, я воровка?! – восклицала она в отчаянии. – Я воровка?.. Я из такой семьи!.. Вот уж не ожидала, вот уж не заслужила!

– Но... Иоганна, – возразил ошеломленный хозяин, – рассудите же здраво: как эти вещи попали к вам в шкаф? Ваши они или мои?.. Скажите-ка, разве они ваши?

– Слышать ничего не хочу! – всхлипывала Иоганна. – Господи боже, какой срам!.. Как с воровкой... Обыскали!.. Ноги моей здесь больше не будет! – кричит она в неистовстве. – Сейчас же уйду! И до утра не останусь, нет, нет!..

– Ведь я вас не гоню... – возразил он в смятении. – Оставайтесь, Иоганна. Забудем о том, что произошло, бывает и хуже. Я вам ничего даже не сказал, не плачьте же!

– Ищите себе другую, – Иоганна захлебывается рыданиями, – я у вас и до утра не останусь... Я человек, а не собака... Не стану все

терпеть... Не стану! – восклицает она с отчаянием. – Хоть бы вы мне тысячи платили. Лучше на мостовой заночую...

– Да почему же, Иоганна! – беспомощно защищается он. – Чем я вас обидел? Я вам даже слова не сказал...

– Не обидели?! – кричит Иоганна с еще большим отчаянием. – А это не обида... обыскать шкаф... как у воровки? Это ничего? Это я должна стерпеть? Никто меня так не позорил... Я не какая-нибудь... потаскушка! – Она разражается конвульсивным плачем, переходящим в вой, и убегает, хлопнув дверью...

Хозяин поражен беспредельно. И это вместо повинной? Да что же это такое? Что и говорить, ворует, как сорока, и она же оскорблена, что он дознался до правды. Воровать она не стыдится, но жестоко страдает оттого, что ее, воровство обнаружено... В своем ли она уме?

Ему становилось все больше жаль служанку. «Вот видишь, – говорил он себе, – у каждого человека есть, свои слабости, и больше всего ты оскорбишь его тем, что узнаешь о них. Ах, как безгранична моральная уязвимость человека, совершающего проступки! Как он мнителен и душевно слаб в грехах своих! Коснись сокрытого зла и услышишь вопль обиды и муки. Не видишь ты разве, что хочешь осудить виноватого, а осуждаешь оскорбленного?»

Из кухни доносился плач, приглушенный одеялом. Хозяин хотел войти, но кухня была заперта изнутри. Стоя за дверью, он уговаривал Иоганну, корил ее, успокаивал, но в ответ слышались только рыдания, все более громкие и безутешные. Подавленный, полный бессильного сострадания, он вернулся в свою комнату. На столе все еще лежали украденные вещи – отличные новые рубашки, много всякого белья, разные сувениры и бог весть что еще. Он потрогал их пальцем, но от этого прикосновения только росли чувство одиночества и печаль.

Пшеница

Перевод Сергея Никольского

«Пшеница поднимается в цене на 20 %», – прочли мы в своей газете, и господин Гауденциус, агент господина Офена, появившийся в дверях, застал нас глубокомысленно изрекающими эту истину.

– Пшеница поднимается в цене на двадцать процентов, – произнесли мы и с беспокойством присовокупили: – Просвиры подорожают; наверное, и бедняки примут на свои плечи новое бремя забот, поскольку будут затронуты и их особые интересы. Вчера вечером, когда мы шли по предместью, один бедняк сказал нам: «Нам уже невыгодно быть бедными. Если цены не снизятся, мы просто будем лишены средств существования».

– Но боже, – возразил господин Гауденциус, – ведь цены всюду падают. Ожидается кризис. Акции и имущество падают в цене. Ажио снижается^{1 (1)}. Благодаря Дернбургу^{2 (2)} и немецким колониям дешевеют бриллианты. Все становится более доступным для бедняков.

– Верно, верно, – возликовали мы.

– И нравственность упала в цене, – продолжал господин Гауденциус – Профессор Антон Шёнбах^{3 (3)} в Граце констатирует, что девица, не потерявшая чести, нынче попросту неполноценна в общественном отношении. Нравственность сейчас настолько упала в цене, что стала доступна и самому бедному человеку.

– В самом деле, – радовались мы, – ценность человеческой жизни падает. Обесценена даже любовь. Лишь госпоже Офен ее последняя любовь обошлась слишком дорого.

1 Ажио – излишек, надбавка против нарицательной цены денежных знаков, векселей, акций, облигаций при их продаже на бирже.

2 Дернбург Бернгард – немецкий финансист, государственный секретарь германского колониального ведомства.

3 Шёнбах Антон (1848–1911) – немецкий филолог, в 1873–1909 гг. преподавал в университете г. Граца.

– У госпожи Мэри Офен сегодня званый ужин, и она просит вас пожаловать, – торжественно произнес господин Гауденциус и раскланялся.

Был вечер, когда мы преодолели коридор дома Офена и вступили в салон, где нас приветливо встретила госпожа Офен.

– Meine Herren, – вцепился в нас господин Офен, хозяин, биржевик, спекулянт и торговец хлебом. – Wie schreibt man bohmisch ršenice или ršjenice?⁴ (4) Позвольте пригласить вас на минутку в бюро. Будьте любезны посмотреть eine Handschrift, ob est gut bohmisch geschrieben ist⁵ (5). Я хочу послать некоторые заметки в газету. Пожалуйста сюда, господа.

«Гана, спец. корр. , – читали мы, исправляя текст. – В результате длительных морозов погибли озимые, особенно *пшеница*. Жители края на грани отчаяния. Мы апеллируем к депутатам и правительственным кругам. Львов, соб. корр. ; Банат, спец. корр. (Loca nom abwechseln⁶ (6).)».

«Буэнос-Айрес. Телегр. сообщ. Неурожай вследствие засухи. *Посевы пшеницы* выгорели. Торговые круги встревожены».

«Из Венгерского сейма. Телегр. Депутат гр. Миклош Эрчи предложил выдать 800 тысяч в качестве субсидий Сатмарскому комитату, пострадавшему от катастрофического неурожая, особенно *пшеницы*, которая погибла под снегом».

«Лондонская биржа. Угрожающие сообщения из Сибири, Аргентины и Соединенных Штатов о нехватке *пшеницы*. Уныние в торговых кругах».

«Голод. „Новое время“ сообщает о голоде в Казанской губернии в результате прошлогоднего неурожая *пшеницы*. Правительство принимает широкие меры, чтобы воспрепятствовать страшной беде».

«Венская биржа. Паника на хлебном рынке. Предполагается, что цена *пшеницы* повысится на 35 %. Не исключено дальнейшее повышение цен».

– Wissen Sie, – доверительным тоном сказал затем господин Офен, – das sind unsere Stimmungslieder. Zuerst Abchlusse, dann Musik.⁷ (7) Но все это еще пустяки. Нам нужна война. И она будет. Мы

4 Дорогие господа... как пишется по-чешски: пшеница или пшеньница? (нем.)

5 ...одну рукопись, хорошо ли она написана по-чешски (нем.).

6 Названия городов заменить (лат., нем.).

7 В данном случае: «Знаете, это для нас как песни. Сначала сделки, потом музыка» (нем.).

организуем ее. *Inter arma – cresunt pretia*^{8 (8)}, – шептал господин Офен про себя. – Я уже заключил сделки на тысячу вагонов пшеницы. А пшеница поднимется в цене на тридцать пять процентов. Три миллиона... пять... семь с половиной...

А пока господин Офен тихим, мечтательным голосом производил подсчеты, наше внимание привлекла старая гравюра (М. Бертелли) по известной картине Тициана, на которой юная Даная, откинувшись на спину, доверчиво принимает олимпийского сластолюбца, что снизошел на нее в подобии золотого дождя. И сказали мы себе, взирая на картину:

– Отныне Данай на земле гораздо охотнее будут желать божественного любовника в виде пшеничного дождя.

– Пшеница дорожает на двадцать процентов, – мечтательно шептал господин Офен, забывшись в приливе чувств, – и дальнейшее повышение цен не исключено... О, боже милостивый, не исключено...

– Как это Соломон воспевал Суламифь? – мечтательно вспоминали мы. – «Твой пупок, словно чаша, увитая пшеничными колосьями...» О, Суламифь! Твои зубы как овны, идущие к водопою, твоя шея была башней из слоновой кости; твои груди были как два детеныша серны; но всего прекрасней, неизменно прекрасным был твой пупок, ибо пшеница поднимается в цене на двадцать процентов, и дальнейшее повышение цен не исключено.

8 Во время войны растут цены (*лат.*).

Аристократия

Перевод Сергей Никольского

В комнате под самой крышей, где капеллан Хродеганг, которого раз в год, под рождество, умытого и приодетого выносили в господские покои и показывали гостям как крестного отца и воспитателя уже ставших достоянием истории и несуществующих дедов, коротал свои ревматические дни и служанки кормили его кашами и обкладывали горячими кирпичами и ватой, собралось небольшое общество, чтобы поздравить капеллана Хродеганга с днем рождения, сто двадцатым по счету.

Присутствовали здесь швейцар Лобелиус, с белой бородой и ликом красивого старого короля, камердинер Пайенс, камердинер Франсуа Сиксо, камердинер Альбине Солар – все в летах, с бритыми лицами, пепельными бакенбардами и давно застывшим выражением лиц; мистер Франц Смит, английский портной с тоскливым взглядом, Чантори – лакей с баками, главный повар пан Ижак, весь в белом; мужчины с пряжками на икрах, несколько старцев.

– Ваше преподобие, – вяло начал Сиксо, – мне выпала честь передать вам поздравление и наилучшие пожелания от имени всей прислуги и обитателей славного дома наших знатных господ.

Капеллан Хродеганг задрожал, глядя затянутыми пленкой глазами и пуская слюни дряблыми уголками рта.

– Досточтимый отец, – зашептал Альбине Солар, – только пятисот лет недостает тебе, чтобы ты был современником возникновения нашего знатного рода.

– Святой отец, – растроганно продолжал Сиксо, – мы жалеем, что уже нельзя видеть того, что видел ты, а теперь ты не видишь и не слышишь и видишь только то, чего уже нет. Благослови тебя бог.

– Мир изменился, – холодно сказал Пайенс. – Я стар и с неудовольствием гляжу на то, что происходит. Теперь мне уже четыреста лет, потому что я потомственный... Я был слугой еще во чреве матери и во плоти моего отца, и мои родители служили еще до того, как родились, и мои деды были зачаты отцами-слугами от матерей-служанок. Четыреста лет я был слугой в лице своих предков,

а завтра уйду с господской службы, потому что не желаю видеть того, что вижу теперь.

– А что увидишь теперь? Все люди стали равны, – отозвался Альбине Солар. – Уже не считается недостойным не быть дворянином. Да, мир изменился, и быть дворянином считается уже недостаточно высокой честью, а грядут времена, когда будет честью не быть им. И я покину этот дом, ибо недостойно служить людям, которые больше уже не господа.

– Я не желаю видеть того, что творится нынче, – тихо повторил Пайенс. – Барон П. в Кладно стал национальным социалистом. Благородный рыцарь Т. работает на пивоваренном заводе. Князья становятся директорами винодельческих фирм. И татуировкой чаще всего украшают себя теперь преступники и дворяне. Графиня И. О. из Ш. устроилась кормилицей. О, боже, не обманывает ли меня зрение, не ослеп ли я от слез, что застилают мне глаза?

– Мы плачем, проходя по коридорам предков, – присовокупил Альбине Солар. – Уже ни в чем нет величия. Мои предки прикрепляли меч к поясу своего господина, я же надеваю ему бандаж на грыжу и сгораю со стыда. Но, слава богу, я уже ухожу из этого дома, потому что не пристало мне прислуживать рядовым гражданам. Я ухожу, потому что гнушаюсь.

– Какие были времена! – задумчиво и мечтательно проговорил Сиксо. – Вижу величественные кавалькады; и крепостной мужичок, гнувший спину на поле, выпрямляется, чтобы проводить взглядом золотую господскую карету. Ибо почитать можно только блеск и силу.

– О слабые вежды, о демократические зеницы! Вы уже ничем не насладитесь, потому что нет уже иного блеска, кроме блеска пота и машинного масла. Вы не увидите больше ничего, потому что ничто уже не ослепляет вас.

– Когда они возвращались из боевых походов, грудь у каждого пылала алым цветом, – мечтательно продолжал Сиксо. – Грудь благородного дуэлянта была багряной, как перчатка архиепископа. Их власть была пурпурной, как королевский плащ. А теперь не видать уже больше ничего красного.

– Ты не прав, Сиксо, – возразил Альбине Солар. – Разве не алеют знамена собраний и красные галстуки рачителей слов? Ты не прав, Сиксо. Сегодня людям не нужен другой пурпур.

– О, довольно, Сиксо, – запросил пощады Пайенс. – Мы глотаем слезы, поклоняясь портретам предков. И в то время как наши господа

подражают тем, кого презирали наши предки, мы остались такими же, как те, что служили предкам наших господ. В то время как наших господ, променявших прошлое на новое и современное, забывают, мы сохранились, как традиция и неистраченное наследство. Мы исторические люди. О, Сиксо, ведь и все возвышенное – это старое и давнее наследство. На наших ливреях сияет блеск золота и давних времен, и наши лица несут на себе печать столетий, они подобны гербам. Если бы наш предок повстречал сегодня нашего господина, он с презрением посмотрел бы на его слишком демократическое платье. Да, Сиксо, единственно мы сохранили дух и величие давних эпох. Мы – традиция. Мы – история. Мы – старина.

Капеллан Хродеганг захрипел.

– Мы последние аристократы, – закончил Чантори.

Примечания

Первые публикации рассказов, вошедших в этот сборник:

«**На помощь!**», «**Зал ожидания**», «**Надпись**» и «**История без слов**» – в авторском сборнике «Распятие», 1918 год.

«**От поцелуя до поцелуя**» – в журнале «Umělecký měsíčník» («Художественный ежемесячник») в ноябре 1911 г., № 2, за подписью «Карел Чапек».

«**Рубашки**» – в журнале «Cesta» («Путь»), 3 декабря 1920 года.

«**Пшеница**» – в журнале «Horkého týdeník» («Еженедельник Горкего»), 12 марта 1909 года.

«**Аристократия**» – в журнале «Horkého týdeník», 9 января 1909 года.

Сноски:

1. Ажио – излишек, надбавка против нарицательной цены денежных знаков, векселей, акций, облигаций при их продаже на бирже.

2. Дернбург Бернгард – немецкий финансист, государственный секретарь германского колониального ведомства.

3. Шёнбах Антон (1848–1911) – немецкий филолог, в 1873–1909 гг. преподавал в университете г. Граца.

4. Дорогие господа... как пишется по-чешски: пшеница или пшењица? (*нем.*)

5. ...одну рукопись, хорошо ли она написана по-чешски (*нем.*).

6. Названия городов заменить (*лат., нем.*).

7. В данном случае: «Знаете, это для нас как песни. Сначала сделки, потом музыка» (*нем.*).

8, Во время войны растут цены (*лат.*).